

75
ПОБЕДА!
1945–2020



Анатолий ЖУКОВ (1931 – 2013), известный советский писатель.

Многие произведения автор посвятил своей малой родине – Мелекесскому району Ульяновской области. После окончания Литературного института им. Горького А.Н. Жуков остался жить и работать в Москве. Но никогда не терял связи с родными краями, горячо интересовался жизнью земляков.

Автор более 20 книг: «Надежда», «Последняя шутка Гуляева», «Дом для внука», «Осенний крик журавлей», «Были Заволжья» и др. Лауреат литературной премии Союза писателей СССР (1979) и Международной премии им. М.А. Шолохова. Член Союза писателей СССР (с 1972) и России.

ЧЁРНАЯ И БЕЛАЯ

*Посвящается Валентине Малиновой,
прекрасной моей сестре*

Человеческие имена, как и всякие названия, давно потеряли первоначальный смысл и остались просто условными обозначениями, номинальными «видами на жительство» того или иного лица. Действительная их сущность не соотносится с реалиями личности, не принимается во внимание. Да и трудно это принять, поскольку имена даются не взрослым, сформировавшимся людям, а существам, не имеющим почти ничего определённого.

Я листаю книжку русских имён, в которой даётся краткое описание их нарицательного значения, и, конечно же, ищу своё имя и имена близких родственников. Очень произвольно они выбраны, пожалуй, даже бездумно.

Анатолий – это восточный, житель Анатолии, которой я никогда не видел. Мой добродушный отец (Николай – «победитель народов»!) тоже не был там, разве что читал, а мать (Александра – «мужественная, защитница людей») по неграмотности совсем не знала о существовании Малой Азии. Вряд ли и мечтали они, простые русские крестьяне, о ней, вряд ли чувствовали какое-то тяготе-

ние к Востоку. Имя они выбрали по моде того времени – среди моих сверстников много Анатолиев, – а где истоки моды, бог ведаёт. У меня нет никакого желания их отыскивать.

В детстве я спрашивал отца, почему я родился, и он мне просто объяснил, что, когда отец и мать любят друг друга, у них рождаются дети, тоже любимые ими. Очень просто и понятно. Одно меня смущало: почему они решили, что меня лучше называть Толей, а не Петей или Ваней? Но и эту загадку отец разрешил легко: Иван и Пётр – старые русские имена, а я родился при новой, молодой жизни, вот они и выбрали мне такое имя. Сами назвали. И это имя мне очень даже подходит, потому что я смуглый. Вот если бы я был светлым, говорил отец, тогда можно бы, пожалуй, дать мне и старое имя: мы, славяне, всегда были светлыми, русыми, с голубыми глазами, а потом замутились от чёрных монголов и от других разных бед.

Про монголов я не понял и в разные беды, от которых изменяются глаза и темнеют волосы, не поверил, и тогда отец рассказал о своей бабушке (а может, о прабабушке), которая была типичной славянкой.

Белокурой она была, синеглазой, в молодости носила длинные косы, одевалась в цветной расшитый сарафан и любила петь песни. Румяная была, крепкая, весёлая баба. Бабушка. Или прабабушка.

А дед (или прадед?) уже «замутился», смуглый был, скуластый, и дети у них рождались то светло-волосые, то чёрные, как цыганята. Потомство этих детей больше пошло в смуглость, потому что рождалось оно в степных наших заволжских краях, где на каждые два года урожайных приходился один недород, а один – совсем голодный год. А беды, они ведь не проходят бесследно, рассказывал мне отец, вот и потемнели твои родственники, славянский корень в глубину ушёл, от засухи схоронился – чтобы выжить. Если выживет, то погонит опять вверх те родные, светлые соки, и опять всё станет на своё место, как было раньше.

– А если не выживет? – спрашивал я.

– Выживет, – говорил отец. – Но случается, и не выживают. Вот у нас на огороде хороший, крепенький рос кустик от старого пенька, а потом ударило два засушливых года подряд, он и засох. Верхние, молодые корни у него влаги не получали, а основной корень ушёл очень глубоко, мёртвую землю достал и в ней погиб.

– Зоенька у нас светлая была, волосы пушистые, а глаза синие, большие. – Мать вытирала свои непроглядно-чёрные повлажневшие глаза и глубоко вздыхала. – Теперь бы помощница мне...

Зоенька была первым и особенно любимым ребёнком у моих родителей, но родилась она слабенькой и через несколько месяцев померла. Часто вспоминая и жалея её, отец и мать согласно признавали, что они сами виноваты в том, что она родилась слабенькой: больно уж они переживали тогда, по своей темноте боялись колхозов, о которых в захолустной Хмелёвке ходили самые страшные слухи – и есть-то заставят из одного котла, и спать-то положат под общим одеялом, и детей-то отберут, чтобы содержать их гуртом в садах и детских яслях...

Садов в степной Хмелёвке от века не было, и не



Анатолий Жуков с сестрой Валентиной

верилось, что они когда-нибудь появятся, а яслями у нас называют кормушки для скота. Других не знали. Извечная крестьянская жизнь, хоть и трудная, полуголодная, однако привычная, переделывалась наново, с самых основ, с глубинных её корней, поэтому дело тут не столько в слухах, которые распространялись мироедами, сколько в том, что им верили, этим слухам, люди, всю жизнь бившиеся за кусок хлеба. Верили потому, что не знали, как оно там повернётся, какая установится жизнь в незнакомом этом колхозе.

Отец с улыбкой передавал тогдашние страхи своих односельчан и весело смеялся над собой и особенно над матерью, которая так боялась за судьбу ещё не родившегося ребёнка, будто наступал конец света. Если бы не эти переживания, Зоя родилась бы крепкой. И уверенно обещал:

– Родится ещё такая. Или такой. Жизнь теперь пришла сытая, прочная, беспокоиться нам нечего – и, значит, родится.

Я листаю книжку русских имен, ищу и нахожу: Зоя означает «жизнь». Архейская эра, протерозойская, палеозойская, мезозойская, кайнозойская – в последних четырех названиях геологических эр лежит корень з о я – жизнь. Отец с его церковноприходской школой едва ли знал это, мать совсем не имеет об этом понятия, и, следовательно, имя первой своей дочери они выбрали произвольно, руководствуясь какими-то своими соображениями.

– Мама, почему вы первую дочь назвали Зоей?

Мать сидит со мной на диване и вяжет шерстяные носки. Она приехала понаведать меня, проверила, в чем я хожу, и решительно забрала тонкие «машинные» носки, в которых «ни сугреву, ни покою». Вот она свяжет мне свои, деревенские, тогда всю зиму проживу беспечно: ноги как в печурке будут, тёплые всегда, сухие.

– Красивая она была, – отвечает мать со вздохом. – Как Валентина. И глаза у неё такие же были, и волосы, и весь облик пригожий, ясный.

Валентина – по книжке, «здоровая, сильная, крепкая» – моя младшая сестра. Она действительно красива, но она черноволоса, смугла, а Зоя была светлой, белокурой.

– Нет, она стала бы красивше Вали, – говорит мать. – Глаза у неё были синие-синие, как небушко после дождя, а волосы белые, льняные... Виновата я

перед ней, покойной, и Валька тоже виновата – всегда её забижала.

Мать говорит уже не о первой Зое – первую она почти забыла, – а о последней, вместе с которой родилась Валентина. Родилась она слабенькой, плаксивой – это я хорошо помню. Мне было десять лет, и, как старший ребёнок в семье, я присматривал за младшими, был им нянькой. Может, поэтому мне и запали так глубоко разговоры отца и матери о первой Зое, моей старшей сестре, которой я не видел. Будь она жива, детство моё не прошло бы за лямками зыбки, в которой поочередно качались все мои сестры: Тося, Валя, Зоя, Люда. Впрочем, Зоя качалась недолго, она умерла через восемь месяцев после рождения, и в смерти её повинна мать. Так считает она сама, она убеждена в этом, хотя я и не вижу её вины...

Близнецы родились у нас в июле сорок первого года, когда много мужиков из нашей деревни уже было взято на фронт, а отец, оставленный по брони как механизатор, ждал повестки со дня на день.

– Я настояла тогда, чтобы назвать Зоей, – говорит мать и, положив вязанье в колени, крестится. – Господи, прости меня, грешную, неразумную, прости и помилуй!.. Что, думаю, делать с вами, с пятерыми, когда останусь одна? Отец против был, ругал меня, но я всё равно настояла и назвала Зоей, чтобы умерла. Поверье такое есть: назовёшь младенца именем своего умершего ребёнка – и младенец тоже умрёт. А она была точь-в-точь первая наша Зоя – белая, полная, синеглазая. В больнице взвешивали их сразу после рождения: Зоя вышла на пять фунтов, а Валя только на четыре. И тощая Валька была, чумазая, никудышная. Я, грешница, хотела её назвать Зоей, но ведь она была не похожа на ту Зою и могла выжить, а я боялась за вас – не хватит сил у меня вас вырастить, у одной-то, вот и назвала беленькую: пусть уж младенцем Бог приберёт, пусть ничего она не узнает. Будто и не было...

«Будто и не было». А сама глядела на неё, обречённую, покаянными, тревожными глазами, плакала по ночам, когда переворачивала их, лежащих рядышком, голова к голове, чёрную и белую, и когда прибегала с поля или фермы кормить грудью, первой брала Зою – торопливо ощупывала её, оглядывала всю и успокоенно поправляла ниточки у запястий белых ручек, повязанные для того, чтобы девочку не «сглазили». И выпытывала у меня, не плакала ли Зоя, не обижала ли её Валя, не убежал ли я на улицу, оставив их на попечение восьмилетнего брата и четырёхлетней сестры.

На улицу я, конечно, убежал, когда близнецы засыпали, но ненадолго и безоглядному веселью своих сверстников не предавался – всегда помнил, что дома остались крикливая Валька, которая способна орать сутками, и молчаливая Зоя, встречающая меня после отлучки взглядом сочувствия и упрёка. Я стыдился этого взгляда, отводил виноватые глаза.

Спокойная Зоя никогда не плакала, не кричала. Даже когда она болела и её светлые льняные волосы прилипали к вспотевшему лбу, она только тихо стонала и глядела осмысленно, терпеливыми, страдающими глазами. Позже, став взрослым, я заметил, что так глядят глухонемые или тяжелобольные, умирающие люди, лишённые речи. Они всё понимают,

они давно поняли, что обречены, но сказать этого не имеют возможности.

А Валька орала по всякому поводу: и когда она мокрая, и когда хотела есть, и когда болел животик, и, захлёбываясь криком, кусала матери грудь, требуя больше молока. А если нажёванную хлебную соску в марле она высасывала всю, так что во рту у неё оставалась одна марля, она выталкивала её, протягивала ручонку к лежащей рядом сестре и вырывала у неё соску, чтобы тотчас сунуть себе в рот. И глаза при этом у неё ничего не выражали, блестели только ярче, как у голодного животного при виде пищи.

Зоя не плакала в таких случаях, когда они оставались одни: я встречал только её укорчивый и прощающий взгляд, а следов слёз не было заметно. Но если при таком насильственном изъятии пищи присутствовали мать, отец или кто-то из нас, старших детей, и мы видели, как Валька вырвала у неё соску, не помешав свершиться жестокой несправедливости, небесные глаза Зои заплывали, и две крупные слёзы ползли по вискам и прожигали на подушке тёмные, долго не просыхающие пятна. А лицо оставалось спокойным – ни гримасы на нём, ни морщинки, даже губы не дрогнули. Лишь глаза, почти немигающие, глубокие, осенённые пушистыми ресницами, спрашивают с недоумением и обидой: «Неужели вы не видели, что она сделала? Почему вы допускаете это?!»

До сих пор я не знаю, откуда у грудного ребенка могла быть такая осмысленность, даже взрослость взгляда. У Вали глаза были как лакированные чёрные пуговицы, и у других, у моих уже детей такие же бессмысленные в этом возрасте, и у прочих, каких я вижу ежедневно у своего многолюдного коммунального дома. А Зоя будто знала, что обречена, и вот глядела на нас, хотела понять, почему она принесена в жертву, почему именно она, которая никого не обижает, не плачет, когда ей голодно или больно, и всех нас любит.

А она любила нас – в этом я уверен. Уже через несколько месяцев после рождения она различала всех, улыбалась каждому приветливо и радовалась отцу, когда он брал её на руки. А отец редко бывал дома, летом и осенью сутками пропадал в поле, зимой уехал на ремонт тракторов и возвращался домой только по воскресеньям, чтобы помыться в бане. Но она, видно, знала его, если радовалась, лицо её прямо-таки светилось от улыбки, от счастья; она приникала к отцу, хватала его дрожащими ручонками, и глаза её, взрослые, жившие как бы отдельно глаза, уже не укоряли, а с робкой надеждой спрашивали: «А может, обойдётся? А может, и не надо мне умирать?»

Отец тетёшкал её, подымал к потолку, но потом не выдерживал её вопросительной улыбки и отдавал матери или мне. «Умрёт, – говорил он. – Первая Зоя тоже так глядела».

Он был чуткий, мой отец, и если он говорил при нас так, то лишь потому, что не мог простить себе слабости, не мог в своё время настоять, чтобы девочку назвали другим именем. И, наверно, хотел напомнить маме, а может, и нам, старшим детям, – чтобы знали, чувствовали серьёзность жертвы, приносимой только ради нас. Да, это было жестоко, но мы уже знали, для чего беленькую девочку назвали